

Михаил Салтыков-Щедрин

Напрасные опасения



Михаил Салтыков-Щедрин

Напрасные опасения

«Public Domain»

1868

Салтыков-Щедрин М. Е.

Напрасные опасения / М. Е. Салтыков-Щедрин — «Public Domain», 1868

ISBN 978-5-457-18742-9

Статья представляет собою одно из наиболее обстоятельных высказываний Салтыкова по общим вопросам развития современной ему литературы. В то же время ее можно рассматривать и как программное литературно-критическое выступление «Отечественных записок», перешедших с 1868 г. под редакцию Некрасова. Принципиальная особенность статьи Салтыкова заключалась в том, что он рассматривал положение современной ему русской литературы с точки зрения отношения к ней воспринимающей читательской среды, «публики». Согласно суждению Салтыкова, круг читателей беллетристики мало изменился со времен 40-х годов, и большую часть читающей публики по-прежнему составляют люди, воспитанные в эстетических заветах старого времени. Поэтому изучение той самой публики, которая сетует на «бедность» нынешней литературы, возвращает автора статьи к анализу типа «человека 40-х годов».

ISBN 978-5-457-18742-9

© Салтыков-Щедрин М. Е., 1868

© Public Domain, 1868

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	11
-----------------------------------	----

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Напрасные опасения

НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ. (По поводу современной беллетристики)

В последнее время все чаще и чаще случается слышать в обществе сетование на бедность нашей литературы (разумея под этим словом собственно беллетристику). С одной стороны, читающую публику поражает отсутствие новых замечательных талантов, которых появление составляло бы более или менее яркое событие; с другой стороны, не меньше приводит в недоумение и то обстоятельство, что беллетристика заговорила каким-то новым, совершенно отличным от прежнего языком, да и предметы для своих исследований стала почерпать из чуждого или, по крайней мере, мало известного для публики мира. Конечно, общество и ныне с удовольствием останавливает свое внимание на новых произведениях своих давнишних любимцев: Тургенева, графа Л. Н. Толстого и немногих других, но так как эти писатели действуют на литературном поприще уже довольно продолжительное время, то публика не без горечи предусматривает тот момент, когда, вследствие естественного или случайного прекращения их деятельности, она надолго останется без хорошего литературного чтения.

Чтобы оценить эти сетования по достоинству, необходимо прежде всего взглянуть на состав нашей читающей публики. Элементы, составляющие эту публику, так разнообразны и притом обновляются с такою медленностью, что можно сказать почти утвердительно, что современный русский читающий люд совершенно тот же, какой был десять – двадцать лет тому назад. Ядро его находится и доныне в той небольшой и замкнутой среде, к которой мы издавна до такой степени привыкли приурочивать все проявления нашей умственной деятельности, что, в строгом смысле, и самую литературу нашу можно почти назвать кастическим достоянием. Нет сомнения, что семена самосознания, брошенные в последнее время на почву русской жизни, значительно расширят границы этой среды в будущем, но покамест мы можем говорить об этом только гадательно. В настоящем, читают и интересуются судьбами русской литературы все те же (или, по крайней мере, того же закала) люди, которые читали, интересовались во времена самого сильного разгара славы автора «Рудина» и «Дворянского гнезда».

Воспитание, образ жизни и общественное положение кладут неизгладимую печать на политические и литературные убеждения людей. Наше общество сороковых годов (или, лучше сказать, мыслящая его часть), составляющее и доныне главный контингент читающей публики, не могло похвалиться особенною ясностью своих стремлений. В людях того времени (все-таки в лучших) было в высшей степени развито чувство неудовлетворенности окружающею средой, но в этом чувстве замечалось так много смутного и беспредметного, что мысль, не будучи в состоянии определенно наметить для себя ясные исходные пункты, не могла не только прийти к каким-либо разрешениям, но даже не чувствовала потребности и доискиваться их. Недовольство питало само себя; оно служило самому себе и причиной и разрешением; это было не более как приличное занятие, тщету которого мы начинаем понимать только теперь, когда в мнении читающей публики вдруг совершился крутой поворот и прежнее недовольство внезапно превратилось в самое невозмутимое довольство.

По-видимому, в нашем обществе сороковых годов чувствовался известного рода умственный и нравственный разрыв, который проводил между поколениями границу довольно резкую, но, в сущности, разрыв этот далеко не был так глубок, как это кажется с первого взгляда. Этот кажущийся разрыв не дотрогивался до оснований, а ограничивался одними внешними формами. Оба поколения, то есть и отцы и дети тогдашние, стояли на

одной и той же идеально-политической почве, и вся разница, их разделяющая, заключалась только в том, какое имя носила та нравственная или политическая утопия, которой держались в том или другом лагере. Если одних еще удовлетворяли патриархальные отношения даже в такой форме, как крепостное право, и если другие начинали уже тяготиться ими, то это не мешало сходиться обеим сторонам в том чувстве кастической отчужденности, которая, даже в самых порывах великодушия, не идет далее отвлеченной справедливости и никогда не отождествляет себя живому делу настолько, чтобы нельзя было приметить в их попытках в этом смысле признаков свойства чисто механического. Если одни подчиняли все свои действия посредничеству внешних сверхъестественных сил и ежели другие уже не удовлетворялись объяснениями такого рода, то это нимало не мешало этим другим прибегать к объяснениям, хотя и имеющим внешний вид, различный от первых, но, в сущности, столь же нетвердым и произвольным. Одним словом, если не сходились люди в подробностях, степени развития и формулах своих убеждений, то основания, из которых выходили эти убеждения, и сфера, в которой они замыкались, были вполне одинаковы.

Вспомним типы, созданные литературой того времени, и мы увидим, что все они носят отпечаток касты; одни из них осуществляют ее уродливости, другие – ее неопределенные стремления к чему-то лучшему, но, во всяком случае, не подлежит сомнению, что и те и другие должны были народиться и перейти в литературу только из такой среды, которая обильна досугом. Трудно было ожидать, чтобы в этой среде, навсегда обеспеченной от черной работы (по крайней мере, она *полагала себя навсегда обеспеченною*), могла серьезно возникнуть мысль о деловом, реальном отношении к жизни, но, взамен того, в ней могли и должны были постепенно возрастать требования характера эстетического и отвлеченного. Чем отвлеченнее ставились вопросы, чем менее вторгалось в них жизненных счетов и подробностей, тем успокоительнее было их действие, тем большую полноту придавали они человеческому времяпрепровождению. Это было какое-то праздничное существование, нечто среднее между сном и бодрствованием, в котором не чувствовалось потребности ни в деятельности, ни в практических применениях. Даже типы Гоголя – и те нравились именно потому, что в них проводились, в отрицательной форме, те же эстетические и отвлеченные требования, которые, в более положительной и привлекательной форме, проводились и в типах Тургенева. Это же объясняет, почему могли привлекать внимание публики даже такие произведения, как псевдонародные романы и повести г. Григоровича, несмотря на то, что в них трактовалось о рекрутских наборах, оброках, неурожаях и тому подобных мужицких невзгодах, то есть о реальнейших из реальных. Вокруг этих реальностей царствовал такой мягко-идиллический тон, что, казалось, недоставало только пирожного, чтобы сделать их вполне привлекательными. Читатель сладко вздыхал и, разнеженный идиллическими горестями Антона-горемыки, внутренне радовался, что на нем лично не лежит никаких недоимок, и что он, не опасаясь рекрутских наборов, может вполне беспечно удовлетворять своим эстетическим и умственным потребностям.

Никто полнее не выразил стремлений этого времени, как Тургенев; никто не показал нам с большею ясностью, на что способен и до каких рубежей может дойти умственный дилетантизм, составляющий естественное последствие слишком обеспеченного досуга. Сомнение – вот та крайняя грань, далее которой он не может идти; сомнение и, вместе с тем, полнейшее бессилие. Лучшие люди этого царства досуга не находят иного выхода, кроме сомнения, и хотя с первого же раза ясно, что тут нет, собственно, никакого выхода, но те отвлеченные извороты, та умственная игра, которые являются неизбежными спутниками неустановившейся и не имеющей прочной опоры мысли, до того привлекательны, что очень многих заставляют забывать о бессилии, которое ими прикрывается. Происходит умственный мираж; кажется, что сомнение уже само по себе составляет известную поправку к жизни, что можно прожить целую жизнь, не имея никакой иной ноши, кроме болезненных

колебаний мысли, и что в результате получится не просто зубоскальство, но нечто существенное, имеющее все признаки серьезной и плодотворной работы. Трудно найти в какой-либо литературе типы более блестящие, нежели Рудин, Лаврецкий и множество других, созданных талантливым пером Тургенева; скажем даже: трудно найти типы, более способные возбудить симпатию; но взгляните на них пристальнее, взвесьте их поступки и действия, и вы легко убедитесь, что это не более как люди распутия, люди скучающие, не видящие в жизни целей, не потому, чтобы этих целей не было в действительности, и даже не потому, чтобы очень трудно было определить их, а потому просто, что они не находят особенной надобности вызывать их наружу. Конечно, им до известной степени уже неловко жить в той обязательной среде, которая их окружает, но иго этой нравственной неловкости, по-видимому, не настолько еще нестерпимо, чтобы разрешиться чем-нибудь иным, кроме легкого и, в сущности, очень незлобивого будирования.

Публику привлекали тургеневские типы потому, что они принадлежали к той среде, которая ей всего ближе была знакома. Она видела в этих типах себя саму, да, пожалуй, еще в таких праздничных одеждах, о которых знала только понаслышке. Ни Рудин, ни Лаврецкий не противоречили никаким основным ее убеждениям, не оспаривали ее права на досуг; они только вносили в этот досуг новый и очень приятный элемент изящества. Насколько чувствовал себя бессильным каждый член читающей толпы, настолько же оказывались бессильными и герои Тургенева; но эти последние представлялись в таком всеоружии изящества, что читатель, вместо того чтобы анализировать и доискиваться, привыкал видеть в них свои идеалы. Притом же в этом будировании слышалось столько хороших и честных слов, что на людей, свободно произносивших эти слова, нельзя было смотреть без особенной сердечной симпатии. Это были слова, несомненно, новые, впервые произносившиеся в нашем обществе, но не такие, однако ж, которые озадачивали бы это общество, которые не нашли бы в нем некоторой подготовки. Умственному зору настроенного этими словами читателя открывалась целая обширная область, целая безграничная картина, в которой, на общем фоне досуга, красовались слова: «изящное» и «интеллигенция». Таким образом, право на досуг не только не отрицалось, но даже как бы оправдывалось. А ежели мы еще припомним ту обаятельную обстановку, которою так богаты произведения Тургенева, то без труда поймем, почему этот писатель так всецело завладел вниманием нашей читающей публики.

Мы нимало не желаем обвинить Тургенева в том, что у него везде на первом плане стоит «лишний человек». Он сам придумал такое меткое определение для своих героев, и, конечно, придумал его не с тем, чтобы льстить. Среда, которую изображал этот писатель, действительно ничем так не изобильна, как «лишними людьми», а взаимная разница между этими людьми заключается единственно в том, что одни сознают себя лишними, а другие не сознают. Сознание своей ненужности, успокоивающееся в самом себе, конечно, не заключает в себе ничего особенно плодотворного, но оно уже имеет то несомненное преимущество, что человек, обладающий им, по крайней мере затрудняется своею ненужностью, совестится видеть в ней нечто непреложное, к чему должно обязательно прилаживаться все остальное, не страдающее умственными и нравственными колебаниями. Мы, конечно, знаем по опыту, что и это сознание может со временем обратиться в привычку и в этом качестве утратить все признаки совестливости, но покуда эта метаморфоза не совершилась, покуда сознание живо и искренно, и покуда, сверх того, в нем заключается последнее слово, до которого додумалось цивилизованное общество, оно может даже принести известную долю пользы. Уяснение типа ненужного человека необходимо должно вызвать потребность в уяснении типа человека нужного; правдивое изображение среды, страдающей болезненными раздражениями мысли, неизбежно приведет к представлению возможности такой среды, где подобные раздражения допускаются только как исключения. Какими бы симпатичными чертами ни рисовали мы «лишнего человека» — все же это явление болезненное, а не нор-

мальное. Здравый смысл человека никак не примирится с тем, чтобы судьбы мира могли находиться в руках людей, останавливающих перед всяким живым делом в положении хемницеровского «Метафизика».^{1} Ведь идет же как-нибудь этот мир, делается же в нем какое-нибудь дело, непременно подскажет этот здравый смысл, стало быть, есть в нем какие-то другие люди, которые хотя не сильны по части метафизики, но могут делать настолько, что и сами живут, да и метафизикам жить дают. Но, повторяем, независимо даже от этого отдаленного результата, тип человека, сознающего себя лишним, имел право на симпатию по одному тому, что сознание это само по себе уже к чему-то обязывало, и с этой точки зрения Тургенев, конечно, имел полное право относиться к нему сочувственно.

Такова была наша публика сороковых годов. Обеспеченная относительно твердости внешних рамок, в которых замыкалось ее существование, проникнутая убеждением, что на ее долю выпало представлять собою интеллигенцию страны, напитанная совершенно своеобразными понятиями о существе и обязанностях этой интеллигенции, она вынесла из своего воспитания полнейшее чувство гадливости ко всему, что напоминало о так называемом черном труде. Отсюда безграничное благоговение пред искусством, отсюда – страсть к метафизической гимнастике. Предполагалось, что это занятие благородное, чистоплотное, способное не только украсить, но и оправдать досуг. Никто не вспоминал о предках, никому не приходило на мысль, что и они не без услад проводили досужую жизнь, что и у них были: и псовая охота, и медвежьи травли. Нравы настолько смягчились, что для всех стал ясен «звериный обычай» этих услад; неясно было только одно: что на первом плане новых услад стояло все то же слово «украшение», все то же понятие «досуг», что из них, этих новых, изящных услад, как ни усиливайтесь, никаких иных слов и понятий не выжмете.

Доказать, что и те и другие украшения различествовали только в форме, а не в сущности, очень нетрудно. Эти доказательства представила нам самая жизнь. Все эти «лишние люди», так меланхолически сетовавшие на свою ненужность, покуда ничто не препятствовало им услаждать себя этими сетованиями, оказались, как только время предъявило некоторые притязания на их досуг, такими преестественными зверобоями, что сразу сделалось ясно, что способность эта только спала в них, окончательно же никогда не умирала...

Те внешние причины, совокупность которых обуславливает тот или другой характер вкусов и требований публики, всегда оказывают свое действие с чрезвычайною медленностию. Мы часто видим, что формы жизни существенно изменяются, но тот живой состав, который (иногда даже по преимуществу) привлекается к этим новым формам, остается прежний, то есть тот же, который присутствовал и при измененных порядках. Измените общественное положение человека, ограничьте условия, которые обеспечивали его досуг, поставьте его в необходимость признавать правоспособность там, где он ее никогда не признавал, – вы этим не достигнете нравственного перерождения человека, вы не сделаете его ни трудолюбивым, ни предусмотрительным, не оградите его от поползновений вторгаться в пределы чужой правоспособности. В более или менее отдаленном будущем все эти результаты, конечно, и возможны и неизбежны, но на первый раз все, чего можно ожидать – это того, что представление созданного Тургеневым типа «лишнего человека» встанет перед человеком с большею отчетливостью, нежели прежде, и притом обнаженное от тех украшений, которые когда-то сообщали ему некоторый кажущийся живой смысл. Предположим даже самый благоприятный случай: предположим, что человек, которого коснулась жизненная реформа, настолько развит, что понимает всю законность и справедливость ее; может ли он, за всем тем, идти далее признания этой справедливости, может ли подчиниться ей в

^{1} ...в положении хемницеровского «Метафизика». – В басне И. И. Хемницера «Метафизик» студент, напившийся теоретической премудростью, попав в яму, рассуждает о философской природе вещей, вместо того чтобы, воспользовавшись брошенной ему веревкой, выбраться наверх.

такой степени, чтоб она стала для него не сегодняшним, а давним делом, вошедшим в его плоть и кровь? Очевидно, такое предположение само по себе уже так рискованно, что ответа на него не может быть другого, кроме отрицательного. Конечно, высокое чувство справедливости, да и то не иначе как при помощи постоянной работы над собственным своим развитием, может до известной степени сгладить те привычки, которые укореняются в нас жизнью, но отказаться от старых привычек, прийти к убеждению в необходимости согласовать их с новым строем жизни – все это еще не значит принять *новые* привычки, сделаться *новым* человеком. Притом же не следует забывать, что, заводя речь о чувстве справедливости, мы тем самым ограничиваем наш кругозор весьма немногими единицами и неизбежно исключаем из него большинство, которое этого чувства не сумело или не успело в себе воспитать. Мы часто видим людей, не только обладающих одинаковыми внешними формами, но даже стоящих, в сущности, на одинаковой ступени умственного развития, которые, за всем тем, очень мало интересуются друг другом потому только, что их разделяет какая-то совершенно незаметная, метафизическая кляуза – что же должно ожидать от сопоставления друг другу таких элементов, которые ни по внешним формам, ни по характеру интересов, ни по внутренней их сущности никаких общих точек соприкосновения между собою не допускают. Ясно, что тут может идти речь только о чувстве справедливости – не более не менее. Положим, что на первый раз мы ничего больше и требовать не вправе, но самое это присутствие и даже преобладание идеи справедливости, *одной* этой идеи, уже доказывает, что обладающий ею человек может удовлетворять своим ближайшим интересам, вовсе не ощущая нужды привлекать к этому те новые формы жизни, которые вызваны требованиями справедливости. Он может оставаться при прежних привычках, при прежних вкусах и наклонностях, и ежели ограничит их в угоду голоса жизни, то сделает это не без тайного огорчения. Он как будто говорит: хорошо! я признаю за новыми стихиями то право на жизнь, которого они до сих пор не имели, я признаю за ними даже право устроить эту жизнь на совершенно иных основаниях, но оставьте меня в покое, не требуйте, чтоб я смешивался с этими стихиями, дайте мне умереть посреди тех привычек и верований, которые воспитало мое прошлое. Необходимо родиться в известном порядке вещей или, по крайней мере, войти в него из условий сравнительно неблагоприятных, чтобы усвоить себе его совершенно просто и естественно. Иначе, на какой бы недостижимой нравственной высоте мы ни стояли, даже если бы мы сами, всею своею предыдущею деятельностью, призывали новый порядок вещей, все же найдется известная капля горечи, которая, против нашего желания, отравит теоретическую непогрешимость наших сбывшихся надежд.

Таково отношение к новым формам жизни даже той части публики, которая хотя и воспитана в преданиях, понятиях и привычках старого времени, но все-таки не может не возбуждать наших симпатий своею относительною нравственною развитостью. Эти отношения исчерпываются всецело словом «справедливость», нимало не захватывая в себя всего человека. Но, как мы сказали выше, в подобного рода отношения может свободно стать только очень незаметное меньшинство; затем, есть еще большинство, которое относится к этому делу несколько иначе. Это большинство (опять-таки предупреждаем, что и под этим словом мы разумеем только бывшее, мыслящее меньшинство читающей публики сороковых годов), быть может, с не меньшим нетерпением звало новые порядки, но вместе с тем показало совершенное отсутствие теоретической твердости и последовательности и совершенно неожиданное обилие практической чувствительности относительно тех существенных изменений, которые привели за собой эти порядки.

Дело в том, что это большинство меньшинства если и призывало какие-то новые порядки, то делало это бессознательно, с чужого голоса. Члены этого большинства были даже не «лишние люди» тургеневского закала, а только прихвостни их. Притом же, ограничиваясь предположениями и выводами свойства исключительно априористического, эти

люди легко могли и не предвидеть тех практических последствий, которые необходимо влекло за собой исполнение их желаний. Так, например, в великой реформе, упразднившей крепостное право в России, их пленяла только красивая сторона дела, то есть устранение безнравственных и бесправных отношений человека к человеку; затем, личность народа, его практическое устройство оставались в тумане по-прежнему, а о тех ограничениях, которые естественно вытекали из устранения бесправных отношений, не могло быть и помину. Казалось, что останется то же самое, что было и прежде, только прежние принудительные отношения примут характер добровольный, что, конечно, несравненно приятнее. Относительно судебной реформы опять то же пристрастие не к существенной, а к красивой стороне дела, то есть к гласности и устности, которые дают больший простор талантам. Понятно, с каким изумлением должны были увидеть эти господа, что живое дело никогда не ограничивается одними красивыми сторонами, а прежде всего выступает наружу тем внутренним существом, которое в нем заключается. Наиболее смелые и рискованные их предположения вдруг оказались настолько опереженными самою скромною действительностью, что на некоторое время недоумение было исключительным чувством, овладевшим этою псевдолиберальною толпою. Но ежели люди до того близоруки, что не могут предвидеть самых простых последствий призываемого ими дела, то ясно, что они не могут и руководить им, что они не в силах овладеть им настолько, чтобы привести его к доброму концу. Отсюда первое кровное оскорбление в бессилии и неумелости. Мы призывали, мы бились изо всех сил, и вот это самое детище, которое мы так лелеяли, оказалось, при самом рождении своем, вышедшим из меры того роста, который мы ему предназначали! Однако и с этим бы еще можно примириться; но оказывается, что детище наше не только чересчур долговязо, но еще неблагодарно. Оно не признает за нами способности воспитывать его, — пусть так! Но оно не хочет даже благоговеть перед нами, не хочет понять, что мы все-таки статья особая, которая всем этим жизненным дразгам ни под каким видом причастна быть не должна. Это вторая кровная обида. И вот все эти люди, столь недавно еще казавшиеся самыми несомненными либералами, вдруг делаются еще более несомненными злопыхателями и начинают поносить те самые явления, в которых они когда-то усматривали украшение и культ всей своей жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания